

Критика семантического разума¹

I. Введение

Прежде всего, следует оговорить проблемное поле и методологические рамки данной статьи. Я никогда не занимался лингвистической семантикой профессионально и мое обращение к используемым в ней методологическим процедурам изначально было вызвано собственными научными интересами, а именно, поисками языка описания базовых категорий русской культуры XVIII-XX вв. Современная культурология с ее крайне размытой методологией не дает здесь каких-либо устойчивых оснований, поэтому их приходится искать в соседних областях. Обращение к опыту семантики выглядит в этом случае тем более естественно, что сами лингвисты совершают дрейф в междисциплинарное поле и переносят разработанный инструментарий на описание таких понятий, как «счастье», «истина», «пошлость», «мещанство» [см., напр.; Логический анализ 1991; Арутюнова 1999, с. 543-642; Степанов 2001; Шмелев 2002; Wierzbicka 2002; Зализняк и др. 2005]. Приводимые ниже соображения представляют взгляд на семантику со стороны, «наивный» взгляд, сознательно дистанцирующий от профессионального дискурса. Дело в том, что профессионал обычно уже не обсуждает основания, являющиеся для него системой аксиом, а работает в рамках этих оснований, здесь же ставятся под вопрос сами основания, и хочется надеяться, что попытка взглянуть на них под иным, чем это принято в современной лингвистике, углом зрения окажется полезной и для лингвистов.

В качестве комментария к заглавию имеет смысл напомнить, что разум (Vernunft) у Канта задает общие принципы, которые определяют направление работы рассудка (Verstand) с понятиями, а также с данными опыта. В статье также речь пойдет о фундаментальных теоретических постулатах, которые, как предполагается, лежат в основании конкретной работы исследователей в области семантики (по Канту, область рассудка) и должны определять базовые установки при описании ими непосредственного эмпирического материала, но в действитель-

ности весьма существенно расходятся с реальной языковой практикой, превращаясь для нее в своеобразное «прокрустово ложе». Характерным проявлением отсутствия в современной семантике адекватных эмпирическим запросам фундаментальных теорий становится появление значительного числа теорий *ad hoc*, не претендующих на фундаментальность, но при этом более или менее успешно обслуживающих практические нужды исследователей в различных областях семантики². Обозначая этот возрастающий со временем разрыв между фундаментальной теорией и непосредственной практической работой можно сказать, что в конкретных исследованиях все заметнее выходит на первый план социокультурная составляющая языка, анализ влияния различных социокультурных факторов на семантическую эволюцию, тогда как фундаментальные теории исходят из представления о языке вообще и конкретных языках в качестве его реализаций как о внесоциальной и внекультурной, замкнутой на себя реальности, аналогичной формальным математическим системам.

Оставляя в стороне позицию Хомского и его последователей, в рамках которой семантика находится на положении Золушки [критику идей Хомского см., напр., в работе: Wierzbicka 1996, p. 6-8, 17-19], мы рассмотрим в дальнейшем две фундаментальные модели, где семантике отводится значительная роль: NSM(natural semantic metalanguage)-концепцию Анны Вежибицкой и модель «Смысл $\Leftrightarrow$ Текст» Мельчука-Апресяна-Жолковского³.

II. Онтологические предпосылки и методологические основания NSM-концепции и модели «Смысл $\Leftrightarrow$ Текст»

Рискну начать с одного «наивного» утверждения. Кажется, не-лингвист не сможет понять, что значит «Олег претендует на этот кусок сыра» или «"Спартак" в этом году претендует на золотые медали» из толкования «*Z претендует на Y*» = «*Z требует, чтобы X предоставил Z-у Y*, потому что *Z* считает, что имеет право получить *Y*» [Апресян 1995, с. 109] или осознать, каков смысл выражений «душа болит», «большой души человек», «душа ушла в пятки», прочитав следующее описание:

душа:

- one of two parts of a person
- people can't see this part
- because of this part, people are not like other living things
- because of this part, a person can feel many things when this

- person thinks about something
- because of this part, a person can be a good person
- (because of this part, a person can live with God)
- because of this part, good things can happen inside a person
- other people can't know what happens in this part if this
- person doesn't want them to know it
- it is good if other people can know it
- it is good if a person wants other people to know it [Wierzbicka 2005, p. 273-274]

Кажется, что следовать подобным описаниям при освоении языка – все равно, что учиться плавать по инструкции («примите в воде горизонтальное положение», «поднимите левую руку», «погрузите ее в воду под углом 130-150°», «одновременно совершайте вертикальные движения прямыми ногами» и т.д.).

Обычно на подобную реакцию, в которой я далеко не оригинален, следует ответ: приведенные описания не предназначены для не-лингвистов, они составляют один из элементов лингвистики как строгой науки [ср., напр., замечание о Толково-комбинаторном словаре в Мельчук 1995, с. 5-6]. Об этой научной строгости в дальнейшем и хотелось бы поговорить. Строгая наука в ее классическом понимании должна опираться на непротиворечивую систему методологических принципов, имеющих характер интуитивной очевидности, и предлагать объективную, т.е. независимую от конкретного исследователя, процедуру верификации получаемых результатов, т.е. обладать определенными объективными критериями истинности. Попробуем посмотреть, какие методологические принципы лежат в основании моделей Мельчука-Апресяна-Жолковского и А. Вежбицкой, и какие процедуры верификации сделанных утверждений предлагаются авторами.

«Естественный семантический метаязык» А. Вежбицкой

Разумно, видимо, начать анализ с модели А. Вежбицкой, в которой ответы на поставленные вопросы даны более отчетливо. Основные положения NSM-концепции Вежбицкой (в разработке которой в последнее время заметную роль играет также Кл. Годдард) можно сформулировать следующим образом:

а) В рамках любого языка может быть выделено базовое ядро, состоящее из так называемых «семантических примитивов» – простых, интуитивно ясных слов, не подлежащих определению. Значение каждого слова данного языка может быть выражено в виде определенной конфигурации семантических

примитивов [Wierzbicka 1972, p. 10-16; Wierzbicka 1980, p. 2-33; Wierzbicka 1985, p. 336-338; Wierzbicka 1996, p. 9-12; Goddard 2002, p. 5, 16]⁴.

α₁) На значение слова не влияют значения других слов в лексиконе. Более того, чтобы сравнивать различные слова или описывать эволюцию семантики какого-либо слова, надо сначала определить сравниваемые значения через семантические примитивы⁵.

β) Между базовыми ядрами различных языков можно установить взаимнооднозначное соответствие, т.к. все они выражают базовый набор врожденных ментальных концептов, видимо, характерный для человека как биологического вида и составляющий часть генетического наследия человека. Данным концептам присуща и определенная синтаксическая упорядоченность, что позволяет в отношении них говорить об особом *lingua mentalis* (Wierzbicka 1972, p. 25-26; Wierzbicka 1980, p. 2-33; Wierzbicka 1996, p. 14-15, 17-21, 28-29, 112-113; Goddard 2002, p. 5, 16)

γ) Предложенная модель позволяет сравнивать различные языки между собой, сводя их к общему основанию, показывать семантическое богатство и национальную специфику концептов, трактуемых словарями как языковые эквиваленты (Wierzbicka 1980, p. 40-42; Wierzbicka 1996, p. 15-16; Wierzbicka 2005, p. 258-260).

Изложенный выше подход дает, по мнению авторов, возможность решить ряд значимых для семантики проблем: проблему построения корректного метаязыка описания, проблему «логического круга» в толкованиях [см.: Wierzbicka 1980, p. 11-14; Wierzbicka 1996, p. 48-49, 274-286], – а также наглядно демонстрирует пути преодоления «семантического агностицизма», сформулированного, как часто утверждается, в работах позднего Витгенштейна и его последователей [см.: Wierzbicka 1996, p. 237-257, 335].

Мы начнем обсуждение концепции Вежбицкой с вопроса о процедурах верификации сформулированных в ней утверждений, в частности, с вопроса о критериях проверки истинности приводимых толкований. Кажется, что такой процедурой должны быть либо объективные данные, аналогичные показаниям стрелки прибора в физике, либо (т.к. толкование представляет собой выражение значения слова через врожденные концепты, интуитивно ясные каждому человеку) реакция обычного носителя языка, который интуитивно должен воспринимать толкование Вежбицкой как истинное. Однако в

работах Вежбицкой мы не найдем ни того, ни другого⁶. Следует заметить, что автор NSM-концепции не придает описанию процедур верификации большого значения, но из замечаний, которые встречаются в ее работах, становится понятным, что в качестве критерия истинности толкования выступает сама Вежбицкая и круг людей, профессионально занимающихся лингвистикой, т.е. обычный носитель языка редуцируется до члена профессионального сообщества. В тех редких фрагментах, где ставится вопрос о критерии, Вежбицкая прямо называет интроспекцию главным методологическим основанием для получения результатов. Иногда (например, при обсуждении *folk biological concepts*) она говорит о необходимости проверки результатов опросами информантов, но конкретных алгоритмов такой проверки, которая сама по себе представляет методологически сложную процедуру, ей не предлагается [см.: Wierzbicka 1985, p.212, 332-333].

Однако такая неявно осуществляемая редукция не может быть признана корректной. Безусловно, обладая развитой языковой интуицией, профессиональный лингвист является еще и носителем определенной профессиональной идеологии и его нельзя считать непредвзятым судьей созданной им же теории.

Здесь уместно вспомнить один фрагмент из работы К. Поппера «Предположения и опровержения», который достаточно точно, кажется, характеризует положение дел. Иллюстрируя необходимость проведения демаркационной черты между наукой и псевдонаукой, Поппер пишет о своих юношеских сомнениях в научном статусе марксистской теории истории, психоанализа и индивидуальной психологии А. Адлера. С его точки зрения, научная слабость этих теорий состояла в легкости, с которой они интерпретировали в свою пользу любой новый факт, в их поистине неограниченной объяснительной силе. Так общая теория относительности Эйнштейна делала кажущиеся невероятными предсказания (например, предсказала красное смещение), и Эйнштейн предлагал крайне рискованные для созданной им теории эксперименты, которые в случае отрицательного результата, наносили бы по ней сокрушительный удар. В противоположность этому любые факты в рамках указанных выше теорий с легкостью интерпретировались в их пользу, придавая основаниям этих теорий характер религиозных догматов [см.: Popper 1962, p.33-39 (русский пер.: Поппер 1983, с.240-244)]⁷. Кажется, что с NSM-концепцией дело обстоит именно таким образом. Пока критерием истинности те-

ории, критерием соответствия экспериментальных фактов ее положениям выступает сам автор и его единомышленники, теория обречена на квазирелигиозный статус и ее объективная проверка невозможна [ср. критику идей Вежбицкой в работе: Соловьев 2005, с. 93-95].

Перейдем теперь к вопросу о методологических основаниях теории естественного семантического метаязыка. А. Вежбицкая уделяет заметное внимание историческим истокам, теоретическому и эмпирическому обоснованию своей концепции, но в целом приводимая ей аргументация не снимает, а лишь усиливает высказанные выше сомнения. Исторические и методологические основания идеи семантических примитивов Вежбицкая находит в работах философов XVII века, в первую очередь, Лейбница. Как она отмечает, мысль о проведении границы между определяемыми и неопределяемыми концептами была крайне значима для многих мыслителей XVII в., и основной вопрос состоял в том, где проводить эту границу, каковы критерии неопределяемости, семантической простоты [см.: Wierzbicka 1980, p. 4]. Для Декарта и Локка проблема выявления простых концептов снималась соображениями интуитивной очевидности, а Дж. Уилкинс утверждал произвольность выбора «трансцендентальных частиц», лежащих в основе оптимального для коммуникации между людьми разных национальностей философского языка. Лейбниц же в своих поисках «алфавита человеческих мыслей» воспринимал задачу выявления таких понятий как крайне сложную проблему, но считал, что их выбор не может быть произвольным. Он также полагал, что естественный язык – лучший ключ к языку мыслей и точный анализ значений слов лучше, чем что-либо другое, демонстрирует нам механизмы понимания. Вежбицкая называет Лейбница структуралистом *par excellence* и утверждает, что его идея минимального «ментального алфавита» – не только операциональный принцип, но и гипотеза о глубинной структуре человеческого мышления [см: Wierzbicka 1980, p. 4-7, 9-10, а также Wierzbicka 1972, p.3-7; Wierzbicka 1996, p. 9-10, 11-13, 28, 48, 70-71, 212-213].

Следует отметить, что для мыслителей XVII века – философов, обнажающих онтологический фундамент своих лингвистических описаний, – представления о языке вытекают из представлений о мироздании и человеке в целом, и за описанным Вежбицкой «структуралистским» образом языка стоят вполне определенные онтологические и гносеологические основания, определенные парадигмы научности, образы

зом и законы движения в теле, обнаруживающиеся в порядке действующих причин, тоже гармонируют и согласуются с мыслями души так, что тело вынуждено действовать именно в то время, когда этого желает душа.

И эта теория не только не причиняет ущерба свободе, но даже наиболее благоприятна ей. Г-н Жакло в своей книге о соответствии разума и веры очень хорошо показал, что это совершается так же, как если бы кто-либо, зная все то, что я прикажу на другой день своему слуге, сделал автомат, который был бы совершенно похож на этого слугу и который на другой день со всей точностью выполнил бы то, что я ему прикажу... Как тот автомат, который исполняет функции слуги, будет зависеть от меня *идеально*, в силу знания того, кто, предвидя мои будущие приказания, сделал его способным служить мне с определенного момента на весь следующий день, так и знание моих будущих желаний побуждает к деятельности того великого творца, который затем создаст автомат: мое влияние при этом будет объективное, а его – физическое. Ибо поскольку душа обладает совершенством и отчетливыми мыслями, Бог принорочил тело к душе и заранее устроил его так, что оно расположено исполнять приказания души; а поскольку душа несовершенна и ее представления смутны, Бог принорочил душу к телу таким образом, что душа увлекается страстями, возникающими из телесных представлений; это-то и производит такое действие и такое кажущееся состояние, как будто бы одно зависит от другого непосредственно и в силу физического влияния. Именно посредством этих смешанных мыслей душа представляет себе окружающие ее тела» (Лейбниц 1989, с. 167-169).

Как душу, так и тело Лейбниц неоднократно называет *автоматами*⁸, т.е. машинами, которые содержат причину своего движения в самих себе⁹. Изложенные представления (душа и тело – сконструированные Богом автоматы, не взаимодействующие между собой) определяют и созданную Лейбницем модель мышления, а также модель языка [о соотношении языка и мышления, слова и идеи у Лейбница см., напр., Лейбниц 1983, с. 274-362]. Так он пишет в набросках, озаглавленных в русском издании «Что такое идея?»: «... наличие в нас идей вещей не предполагает ничего другого, кроме того, что Бог, творец равно и вещей и ума, вложил в этот ум такую мыслительную способность, благодаря которой он мог бы, исходя из своих собственных операций, выводить то, что совершенно соответствовало бы выводимому из вещей. И если поэтому идея окружности и не будет похожа на окружность, все же из

зом и законы движения в теле, обнаруживающиеся в порядке действующих причин, тоже гармонируют и согласуются с мыслями души так, что тело вынуждено действовать именно в то время, когда этого желает душа.

И эта теория не только не причиняет ущерба свободе, но даже наиболее благоприятна ей. Г-н Жакло в своей книге о соответствии разума и веры очень хорошо показал, что это совершается так же, как если бы кто-либо, зная все то, что я прикажу на другой день своему слуге, сделал автомат, который был бы совершенно похож на этого слугу и который на другой день со всей точностью выполнил бы то, что я ему прикажу... Как тот автомат, который исполняет функции слуги, будет зависеть от меня *идеально*, в силу знания того, кто, предвидя мои будущие приказания, сделал его способным служить мне с определенного момента на весь следующий день, так и знание моих будущих желаний побуждает к деятельности того великого творца, который затем создаст автомат: мое влияние при этом будет объективное, а его – физическое. Ибо поскольку душа обладает совершенством и отчетливыми мыслями, Бог принорочил тело к душе и заранее устроил его так, что оно расположено исполнять приказания души; а поскольку душа несовершенна и ее представления смутны, Бог принорочил душу к телу таким образом, что душа увлекается страстями, возникающими из телесных представлений; это-то и производит такое действие и такое кажущееся состояние, как будто бы одно зависит от другого непосредственно и в силу физического влияния. Именно посредством этих смешанных мыслей душа представляет себе окружающие ее тела» (Лейбниц 1989, с. 167-169).

Как душу, так и тело Лейбниц неоднократно называет *автоматами*⁸, т.е. машинами, которые содержат причину своего движения в самих себе⁹. Изложенные представления (душа и тело – сконструированные Богом автоматы, не взаимодействующие между собой) определяют и созданную Лейбницем модель мышления, а также модель языка [о соотношении языка и мышления, слова и идеи у Лейбница см., напр., Лейбниц 1983, с. 274-362]. Так он пишет в набросках, озаглавленных в русском издании «Что такое идея?»: «... наличие в нас идей вещей не предполагает ничего другого, кроме того, что Бог, творец равно и вещей и ума, вложил в этот ум такую мыслительную способность, благодаря которой он мог бы, исходя из своих собственных операций, выводить то, что совершенно соответствовало бы выводимому из вещей. И если поэтому идея окружности и не будет похожа на окружность, все же из

нее могут быть выведены истины, которые, без сомнения, будут подтверждать опыт обращения с реальной окружностью» [Лейбниц 1984, с. 104]. Представляя мысли, точнее, набор идей, как полностью оторванную от реального практического опыта систему, Лейбниц не проводил различия между реальным и искусственным языком [см., напр., Лейбниц 1984а] и опирался в качестве парадигмы научности на математические тексты, классическим образцом которых являются «Начала» Евклида. Отсюда его стремление к «алфавиту человеческих мыслей», к выявлению базовых постулатов, определяющих деятельность мышления: оно абсолютно органично вытекает из его общих мировоззренческих представлений.

А каковы общие представления о человеке самой А. Вежбицкой? Разделяет ли она утверждения Лейбница о предустановленной гармонии, о независимом существовании души и тела, об отсутствии качественных различий между искусственным и естественным языком? Если да, то об этом следовало бы прямо заявить, что перевело бы полемику на принципиально иной уровень: благо, экспериментальной психологией и антропологией после Лейбница проделана огромная работа. Или ссылки на Лейбница не носят принципиального характера, имея смысл лишь обращения к традиции, обозначения ее истоков? Но тогда какой образ мира и человека стоит за NSM-теорией? Прямых высказываний на этот счет мне найти не удалось, однако некоторые косвенные выводы можно сделать, анализируя интерпретацию А. Вежбицкой другого массива текстов, служащего, с ее точки зрения, экспериментальным подтверждением ее концепции, – работ по детской речи и по традиционным культурам (культурам архаических, или примитивных народов). Обратимся к каждому из данных блоков, начав с работ детских психологов и лингвистов.

Сразу замечу, что ни исследования, на которые ссылается Вежбицкая, ни другие исследования детской речи не дают оснований утверждать существование врожденных базовых концептов в смысле Лейбница или Вежбицкой. Скорее, наоборот – весь собранный экспериментальный материал показывает определяющую роль контекста и социокультурной коммуникации в формировании навыка использования языка и, в первую очередь, овладения семантикой.

Обращусь к конкретным примерам. А. Вежбицкая использует в качестве подтверждения своего постулата о врожденных базовых концептах работы Д. Слобина, в частности, его статью [Slobin 1985]. Судя по тексту статьи, Д. Слобин испытал в плане

методологии заметное влияние идей порождающей грамматики Н. Хомского, что сразу задало жесткую рамку для собранных его группой экспериментальных данных¹⁰. Он вводит понятие опорной детской грамматики (Basic Child Grammar), состоящей из набора операционных принципов (Operating Principles), характеризующих систему организации языковой деятельности ребенка (Language-Making Capacity) и утверждает, что эта грамматика носит универсальный характер для всех детей, и лишь позднее ребенок, отказываясь от нее, осваивает грамматику конкретного языка [Slobin 1985, p. 1158-1160].

Заданная схема определяет характер регистрации экспериментальных данных: в экспериментальных описаниях фиксируется, главным образом, речевая деятельность ребенка, на жесты ребенка, которыми сопровождается его речь, обращается меньше внимания, и лишь как слабый периферийный фон в описаниях присутствует ситуационный контекст и действия взрослого, регулирующие речевые усилия ребенка. Однако даже при такой ограниченности экспериментального материала и искусственности теоретических построений, заметно, что определяющую роль в освоении ребенком языка играет опыт, который он обретает в процессе социокультурной коммуникации, т.е. повседневная практика ребенка¹¹. При этом в предложенной автором схеме (даже закрывая глаза на ее теоретическую некорректность), лишь при большом усилии можно найти какие-либо аналоги семантическим примитивам в понимании А. Вежбицкой¹².

Крайне показательна также отсылка к работам Дж. Брунера, которого автор NSM-концепции трактует как своего сторонника. Вежбицкая приводит фрагмент из Брунера, в котором тот говорит о долингвистической способности к восприятию значения (readiness for meaning) утверждая, что существуют определенные классы значений, «настроенность» на которые заложена в человеке еще до рождения и которые до формирования языка существуют как протолингвистические реперезентации мира [см.: Wierzbicka 1996, p. 18; Bruner 1990, p. 72]. На первый взгляд, в данном фрагменте можно увидеть нечто подобное семантическим примитивам в смысле Вежбицкой, однако, через несколько страниц Брунер отчетливо показывает, что он говорит здесь совсем о другом, а именно, о способности человека к социальному общению, о его социальной природе, основания которой имеют врожденный характер [см. Bruner 1990, p. 73-74, а также p. 64-65].¹³

Отмечая заметную произвольность в толковании экспе-

риментальных данных, следует обратить внимание и на одну логическую процедуру, используемую А. Вежбицкой при интерпретации материалов наблюдений. Иногда, приводя результаты экспериментов, она отмечает, что их трактовка автором статьи не является единственно возможной, что они могут быть проинтерпретированы и иным, когерентным с NSM-концепцией способом. Так, доказывая, что *because* является семантическим примитивом и его понимание присуще человеку с рождения, Вежбицкая, с одной стороны, ссылается на Канта, для которого способность к каузированию является априорной способностью человека, а с другой - приводит материалы Л. Блума, который исследовал каузацию в речи американских детей двухлетнего возраста. Излагая затем интерпретацию автора исследования, который отрицает врожденный характер *because* для ребенка и связывает его со стремлением зафиксировать регулярности в его повседневной социальной практике, она отмечает, что приводимые данные полностью согласуются и с утверждением о казуальности как врожденной форме восприятия человеком мира [Wierzbicka 1996, p. 70-71. См. также аналогичный ход с М. Бауэрман: Wierzbicka 1996, p. 18]. Однако при таком понимании идея семантических примитивов становится практически неопровержимой (понятие врожденности превращается в нечто аналогичное понятию судьбы в античности), но одновременно теряет научный статус – возможность опровержения является в современной методологии науки одним из ключевых признаков научности теории. Если следовать изложенной логике, то и отсутствие слова *because* в речи детей не опровергает утверждения о врожденности этого концепта: можно сказать, что в раннем возрасте отсутствуют условия для актуализации врожденной способности. Однако, становясь неопровержимой, такая теория теряет свою предсказательную силу, тогда как утверждение о связи *because* с социальным опытом ребенка дает возможность предсказывать, в каких контекстах происходит фиксация причинно-следственной связи, а в каких нет, например, объяснить, почему все приводимые Блумом примеры относятся непосредственно к самому ребенку как субъекту высказывания, и среди них нет ни одного случая выявления объективных, не центрированных на ребенке закономерностей (вида «на улицах лужи, потому что идет дождь»).

В целом, похожим образом обстоит дело и с работами по традициональным культурам, на которые ссылается А. Вежбицкая. Основной ее тезис здесь звучит следующим образом: набор семантических примитивов одинаков для всех языков, как бы

далеко они друг от друга ни отстояли, как бы ни различались говорящие на этих языках культуры по мировоззрению и типам деятельности. Как известно, существует значительное число антропологов, которые не признают такого единства, утверждая, что в языках традиционных культур отсутствуют концепты, выражающие причинно-следственную связь, базовые ментальные концепты и т.д. А. Вежбицкая и Кл. Годдард опровергают подобные утверждения, указывая, что их авторы не учитывают полисемии и аллолексии, которые присутствуют и в современных европейских языках и с учетом которых изоморфизм между базовыми наборами становится гораздо более явным (Wierzbicka 1996, p. 185-210; Goddard 2002, p. 20-30). Однако корректного описания когнитивных процедур, стоящих за восприятием того или иного слова, ни Вежбицкая, ни Годдард не проводят, так как для этого требуется не лингвистический, а психолингвистический анализ. Более того, даже в работах психологов, которые отчетливо фиксируют особенности мышления представителей традиционных культур, А. Вежбицкая не обнаруживает этих особенностей и, используя описанный Поппером метод, интерпретирует приводимые данные в свою пользу.

Приведу лишь один пример. Вежбицкая ссылается на английский текст знаменитой работы А. Лурии, опирающейся на его исследования 30-х годов, но опубликованной в СССР лишь в 1974 г. [см. Лурия 1974; Luria 1976]. В этой работе, и, в частности, в тех ее фрагментах, которые она упоминает, Лурия отчетливо показывает, что мышление и мировосприятие человека традиционной культуры связаны с контекстом его повседневной деятельности и абстрагироваться от этого контекста, решать задачи, не опирающиеся на его повседневный опыт, он не может. Не возражая против наблюдений Лурии, Вежбицкая отмечает, что его информанты используют, тем не менее, слова *all*, *if*, т.е. эти понятия присутствуют в их языке, что позволяет выделить их как семантические примитивы [см. Wierzbicka 1996, p. 209-210]. Однако когнитивные процедуры, стоящие за *all*, *if* в текстах Лурии, так же, как и в детских высказываниях, воспроизводящих упомянутое выше *because*, существенно отличаются от подобных процедур в понимании Канта и Лейбница. Здесь основой суждения является личный опыт, а не абстрактная безличная необходимость, и за внешним семантическим сходством в указанных ситуациях стоят различные типы мышления, которые можно условно назвать симпрактическим и теоретическим [см. об этом: Романов 1991, с. 11-67]. Разумеется, это отличие невозможно увидеть, если

рассматривать язык как формальную систему, оторванную от человека, но оно сразу становится заметным, если включить человека в процесс формирования и развития языка.

Аналогичное замечание можно сделать и на приводимое Вежбицкой утверждение Боаса (с которым солидаризируется она и многие другие лингвисты), что в языке примитивных народов, хотя и отражающем, в первую очередь, их непосредственный опыт, достаточно средств для того, чтобы выражать абстрактные идеи. Если рассматривать язык как формальную систему, это утверждение, безусловно, справедливо, но если видеть за языком говорящего на нем человека, данное высказывание нужно переформулировать следующим образом: в любом языке *потенциально* достаточно средств для выражения любых, сколь угодно абстрактных понятий, но для того, чтобы такая возможность стала актуальной языковой практикой, нужен отчетливо формулируемый культурный запрос и долгий промежуточный этап формирования ответа на этот запрос¹⁴.

Завершая обсуждение NSM-концепции, необходимо сделать два замечания. Возвращаясь к вопросу об образе мира и человека, стоящем за ней, следует признать ее автора «наивным механицистом», т.е. исследователем, который, не обозначая отчетливо своих онтологических оснований, неявно разделяет представления мыслителей XVII века. Необходимо также особо подчеркнуть, что мы обсуждали здесь работы А. Вежбицкой только как создателя NSM-концепции. В целом же спектр осуществленных ей исследований заметно шире и для значительной их части характерно пристальное внимание к социокультурному контексту и активное привлечение его для объяснения семантической эволюции концептов¹⁵.

Модель «Смысл $\Leftrightarrow$ Текст»

Перейдем теперь к модели «Смысл $\Leftrightarrow$ Текст». Следует отметить, что здесь редкие размышления о способах верификации теории обычно отсылают к критерию интроспекции со ссылкой на А. Вежбицкую¹⁶, поэтому приведенные выше соображения о квазирелигиозности можно перенести и на эту модель.

Онтологические основания теории, образы мира и человека, стоящие за ней, заключены в рамки компьютерной парадигмы, ядром которой является понятие информации. Такая установка задается уже первыми словами монографии И.А. Мельчука, посвященной изложению модели «Смысл $\Leftrightarrow$ Текст»:

«В этой книге мы исходим из следующего тезиса:

Естественный язык – это особого рода преобразователь, выполняющий переработку заданных смыслов в соответствующие им тексты и заданных текстов в соответствующие им смыслы» [Мельчук 1999, с. 9; разрядка автора – В. Г.].

И приведенное определение, и следующие затем комментарии автора к нему не дают возможности усомниться в ключевом для модели образе человека-компьютера, вся жизнедеятельность которого строится вокруг сообщения, получения и переработки информации¹⁷. Не обсуждая здесь работ психологов, в которых показана несостоятельность подобного подхода [см., напр., уже упомянутую работу Дж. Брунера: Bruner 1990], остановлюсь лишь на вопросах, имеющих прямое отношение к обсуждаемой теории. Непонятно, откуда берется пространство смыслов, каков его онтологический статус. Кто выступает в качестве критерия правильности толкования смыслов, корректности устанавливаемых соответствий? Если следовать критерию интроспекции, то сам лингвист, что ведет к замыканию теории на себя и лишает ее объективных критериев проверки. Могут ли смыслы эволюционировать со временем и как в модели заложена возможность описания этой эволюции? Судя по всему, такая возможность не рассматривается, и язык предстает в ней как замершая, статичная система, существующая вне потока времени, в стороне от социокультурных процессов. Вообще, следует заметить, что вопрос о формировании пространства смыслов – базовый для понимания ограниченности методологии данной модели. Попытка аккуратно продумать его сразу обратила бы исследователя к необходимости анализа социокультурного контекста и привела бы в итоге к совсем иной методологической системе координат.

Необходимо остановиться на еще одном моменте. И. Мельчук замечает, что предложенная им модель не претендует на описание реальных процессов, происходящих в сознании человека [см. Мельчук 1999, с. 13], но в работах Ю. Апресяна с описанными механизмами уже начинает связываться реальная работа человеческого мышления. Так, обратимся к ставшему уже классическим примеру Апресяна про хорошего кондитера и газовую плиту: «Рассмотрим, например, предложение *Хороший кондитер не жарит хворост на газовой плите*. Его значение непосредственно очевидно всякому человеку, владеющему русским языком, хотя можно сомневаться в том, что рядовой носитель языка сумеет теоретически удовлетворительно объяснить существо закона, который он интуитивно использу-

ет при понимании данного предложения (подчеркнуто мной – В. Г.). Однако модель не может апеллировать к интуиции, которой у нее нет, и если мы хотим, чтобы она выполняла доступные человеку операции с текстами, мы должны заложить в нее необходимую информацию в явном виде. Эта информация складывается прежде всего из знания фонетических, морфологических и синтаксических единиц и правил и знания словаря, но, конечно, не исчерпывается этим. Существуют еще некие семантические правила интерпретации текстов; ниже мы эксплицируем одно из них, допустив, что синтаксическая структура предложения и значения входящих в него слов уже известны» [Апресян 1995, с. 13]. Затем автор выписывает последовательно значения слов «кондитер» («тот, кто изготавливает сласти», «торговец сладостями», «владелец кондитерской», «жарить» («изготавливать пищу нагреванием на/в масле», «обдавать зноем») и т.д. и формулирует «основной семантический закон, регулирующий правильное понимание текстов слушающим: выбирается такое осмысление данного предложения, при котором повторяемость семантических элементов достигает максимума» [там же, с. 14], т.е. из множества значений выбираются те, в которых синтаксически связанные слова дают максимальное семантическое пересечение.

Заметим, что в начальных установках автора есть показательная недоговоренность. Он предполагает, что значения входящих слов уже известны, но не раскрывает источник этого знания. Если такой источник – значения более простых, базовых слов, то, додумывая схему до конца, мы приходим к некоторому аналогу уже обсужденной схемы Вежбицкой с ее *lingua mentalis*. Другие работы автора заставляют предположить, что имеет место именно этот вариант [см., напр., Апресян 1995а, с. 476-482]. Однако более естественной кажется другая позиция. Если речь идет о реальных алгоритмах, интуитивно воспроизводимых носителем языка, естественно заключить, что таким источником является повседневный опыт и тогда эта интуиция должна быть организована совсем по-другому: понимание не атомарно, а целостно и нельзя утверждать, что понимание отдельного слова предшествует пониманию предложения в целом¹⁸. Опуская возможные различия, связанные с различным жизненным опытом, можно предположить, что в норме процесс понимания данной фразы происходит так: сочетание «газовая плита» сразу воспринимается как целостная синтагма, порождающая вполне конкретный образ, не допускающий толкований и выступающий в качестве ядра для по-

нимания всего предложения. К ней присоединяется понятие «жарить», опять же, отсылающее к непосредственному жизненному опыту, процессу приготовления пищи на плите. Но процесс жарки предполагает того, кто жарит, и то, что он жарит, и отсюда происходит выбор менее очевидных правильных значений слов «кондитер» и «хворост».

Еще более отчетливо это различие между человеком как социальным существом и человеком как «носителем языка»¹⁹, знание которого сводится к знанию соответствующих словарных статей и грамматических правил соединения слов в предложения, становится заметным, если обратиться к еще одному проводимому в книге примеру. Поясняя умения, которые он включает в понятие «владение языком», автор подчеркивает, что «здесь имеются в виду умения, основанные на владении чисто языковой (словарной и грамматической), а не энциклопедической информацией. Текст *Он проплыл 100 метров кролем за 45 секунд* для всякого носителя русского языка значит: «Плывя стилем "кроль", он покрыл расстояние в 100 метров и затратил на это 45 секунд». Для тех, кто знает не только русский язык, но и таблицу мировых достижений в плавании (элемент энциклопедической, а не языковой информации), то же самое предложение может оказаться гораздо содержательнее. Оно может быть воспринято как сенсационное сообщение о феноменальном мировом рекорде, как напоминание о безграничных физических возможностях человека и т.п.» (там же, с. 12).

Однако можно выразить сомнение, что текст *Он проплыл 100 метров кролем за 45 секунд* для всякого носителя русского языка, если понимать его «по Апресяну» как человека, который знает словарные значения слов и правила их связи в предложения, значит: «Плывя стилем "кроль", он покрыл расстояние в 100 метров и затратил на это 45 секунд». Понимание этого предложения будет принципиально разным для человека, который умеет плавать или неоднократно видел, как плавают другие (в частности, стилем «кроль»), и человека, который усвоил значения слов «плавать» (подходящее значение из словаря Ожегова «Передвигаться по поверхности воды или в воде») и «кроль» («стиль спортивного плавания, при котором руки поочередно выбрасываются над водой»), но сам никогда не плавал и не видел, как это делают другие, но, например, часто бегают. Тогда для него плавание кролем может представляться как бег в воде, одним из условий которого является поочередное выбрасывание рук над водой. Это пример показывает, что условием одинакового понимания конкретного предложения вы-

ступает не одинаковый языковой опыт, не знание конкретных словарных значений, а общая социальная практика, и вне нее словарные статьи оказываются бессильными.

Подводя итоги обсуждения, хотелось бы повторить следующее:

- Налицо существенный разрыв между практической работой семантиков, все активнее вовлекающих социокультурный контекст в орбиту своего исследования, и базовыми теоретическими моделями языка, в которых он предстает статичной, замкнутой на себя системой, возвышающейся над культурным контекстом. Ни в модели Вежбицкой, ни в модели Мельчука-Апресяна-Жолковского, не говоря уже о концепции Хомского и близких ему исследователей, не заложена идея динамики, идея изменения языка и механизмы описания такого изменения.

- Если говорить о лингвистике в целом и семантике в частности как строгой науке, вызывают существенные вопросы критерии верификации семантических теорий. Главным критерием здесь становится языковая интуиция самого лингвиста, которого сложно считать беспристрастным судьей созданных им или его коллегами теорий. Даже стремясь к максимальной объективности и точности, он оказывается подверженным определенным профессиональным предрассудкам, которые принято называть профессиональными деформациями. «Замыкание на себя» придает семантическим теориям квази-религиозный, «марксистско-фрейдистский» (по Попперу) оттенок.

- За разрабатываемыми моделями стоит представление о человеке как автомате, в котором ум (душа) и тело либо функционируют независимо друг от друга, либо тело доставляет уму внешние сигналы, которые затем перерабатываются в сознании, как подобные сигналы перерабатываются в компьютере. Тело непосредственно не участвует в процессе переработки. Основания и наиболее отчетливое и бескомпромиссное описание такой модели содержится в трудах рационалистов XVII в., но в целом оно соответствует позитивистской в широком смысле слова ветви в философии XX века, за которой стоят имена Рассела, раннего Витгенштейна, Карнапа, Шлика и др. Другим неявно формулируемым теоретическим основанием концепции служит представление о математике как науке *par excellence*, которое ведет к моделированию естественного языка по образцу искусственного, построенного по законам формальной логики.

III. Возможные методологические альтернативы

Говоря о возможных альтернативах описанным выше методологическим установкам и явно или неявно обозначаемым мировоззренческим основаниям, на которые они опираются, прежде всего, следует сформулировать два главных тезиса:

✓ Необходимым условием для превращения семантики в строгую науку является наличие в ней внешних, не замыкающихся на интуиции самого исследователя критериев проверки истинности утверждений семантических теорий.

✓ «Антропоцентричное», соотносимое с реальным опытом освоения языка человеком описание слова не может быть дано без принципиального выхода за пределы собственно языка, без опоры на социокультурные основания языковых процессов.

За вторым тезисом стоят представления о человеке как о едином телесно-духовном существе, для которого социальный опыт является определяющим в процессе освоения и использования языка. Не оспаривая относительной справедливости гипотезы Сепира-Уорфа, следует заметить, что существенно большее значение имеет обратный тезис: особенности семантической структуры языка в значительной степени определяются социокультурной средой, в которой этот язык существует [ср. Фрумкина 1985, с. 29].

Описание культурно-значимых слов

Указанные постулаты должны, видимо, по-разному применяться в различных областях семантики. Мне хотелось бы остановиться в заключение на наиболее близкой мне области – на описании культурно-значимых слов. Имеются в виду слова, выражающие ключевые для данной культуры понятия, т.е. понятия, обсуждающиеся и получающие различные интерпретации в значимых для культуры философских (в широком смысле) текстах. Примеры таких слов для русской культуры: «Россия», «народ», «интеллигенция», «пошлость», «мещанство»; для древнегреческой культуры – *ἀρετή*, *τὸ ὄν*, *κόσμος*; для средневековой западной культуры – *Deus*, *substantia*, *esse*, *bonum* и т.д.

Как уже отмечалось ранее, лингвисты совершают активный дрейф в эту область, главным образом, в рамках описания так называемых национальных «языковых картин мира». Характерный пример подобных исследований – работы [Шмелев 2002, Зализняк и др. 2005], посвященные «русской языковой картине мира». Авторы делают в них много интересных и глубоких частных наблюдений, которые, к сожалению,

остаются не более чем частными наблюдениями из-за отсутствия адекватной методологии исследования. Представления о языке как особой, внесоциальной реальности, выступающей по отношению к социуму и человеку как внешняя сила, заставляющая человека воспринимать мир так, а не иначе, приводит к существенным методологическим абберациям. Такая позиция отчетливо обозначена, например, в предисловии к работе [Зализняк и др., 2002]: «В заключение подчеркнем, что главным действующим лицом этой книги является русский язык. Наша задача - обнаружить те представления о мире, стереотипы поведения и психических реакций, которые русский язык навязывает говорящему на нем, т.е. заставляет видеть мир, думать и чувствовать именно так, а не иначе. Никаких выводов относительно свойств «русской души», «русского национального характера» и т.п. мы не делаем, хотя и используем в нашем анализе соответствующие концепты – как общие места русского бытового, философского, научного и т.д. дискурса» [Зализняк и др. 2002, с. 13]. Замечу в скобках, что концепты «русской души», «русского национального характера» обладают еще более размытой и аморфной структурой, чем «русская языковая картина мира», и обращение к ним без четкого описания, что конкретно в данном случае имеется в виду, создает дополнительные сложности в восприятии авторской позиции.

Вопрос о критериях верификации сделанных утверждений для авторов не является актуальным, но по контексту видно, что в качестве такого критерия выступает их собственная языковая интуиция, имеющая универсальный характер: с их точки зрения, высказываемые ими наблюдения должны быть очевидны любому носителю языка. Каких-либо попыток объективировать эту интуицию, проверить сделанные наблюдения, например, путем статистического анализа текстов, авторы не предпринимают.

Это ведет к тому, что в отборе текстов, в их трактовке отчетливо проявляются мировоззренческие и идеологические установки авторов, которые связаны не с языком вообще, а с мировоззрением определенной социокультурной группы, и не носят объективного характера (см., напр., трактовку авторами категорий «пошлость» и «мещанство» в [Зализняк и др. 2005, с. 175-202]). Далее, воспринимая, за редкими исключениями, язык как статичную систему, не реагирующую на социальные изменения²⁰, авторы без каких-либо оговорок используют для подтверждения своих идей тексты XIX, начала XX и конца XX века, и не исследуют семантические трансформации, кото-

рые претерпевают описываемые ими концепты со временем, а также не различают осознанного употребления понятия, когда оно превращается в элемент созданной автором философской или квазифилософской конструкции, и его неотрефлексированного употребления в языке. Все это создает ощущение крайней размытости и приблизительности анализа (ср. критику понятия «языковая картина мира» в работе [Шайкевич 2005]).

В качестве альтернативы описанным установкам можно предложить социокультурный подход к описанию культурно значимых понятий. Для его иллюстрации я попытаюсь схематично наметить возможную структуру словарной статьи для культурно значимого слова, если говорить об идеальном словаре с неограниченным объемом.

Такая статья, на мой взгляд, должна включать в себя три уровня описания:

а) *Описание социокультурного контекста, в котором возникает или испытывает семантические трансформации слово.* В социокультурной реальности постоянно происходят изменения, которые могут быть и весьма существенными. Такие изменения, обычно не отражаясь на языке сразу, позднее приводят к появлению новых слов или трансформации семантики старых, представляющей собой реакцию на эти изменения и непонятной без них. Например, резкое возрастание частотности и изменение семантической структуры слова «скука» непосредственно связаны с секуляризацией русской культуры во второй половине XVII-XVIII в. и освобождением дворянства от обязательной государственной службы, юридически закрепленным манифестом Петра III «О даровании вольности и свободы дворянству» (1762 г.) и «Жалованной грамотой дворянству» Екатерины II (1785 г.). Указанные процессы приводят к изменению общей структуры повседневной жизни культурной элиты, когда жизнь лишается внешнего регулятива (спасение души, служение государству и т.д.) и становится как бы равной самой себе. Появляется необходимость в создании культурного института, который придавал бы такой самодостаточности мировоззренческие основания, задавал бы внешние регуляторы поведения в формирующейся структуре новой повседневности. Эту функцию и начинает выполнять свет, светское общество, воспроизводя в основных чертах уже сложившиеся западные (в первую очередь, французские) образцы. Скука становится важнейшим атрибутом светского образа жизни. Без осознания этих социокультурных трансформаций понимание

семантической эволюции слова оказывается крайне затрудненным.

б) Второй уровень описания связан с отражением социокультурной динамики в языке, в результате чего слово вступает в разнообразные семантические связи с другими словами, и у погруженного в языковую среду человека формируется интуиция, позволяющая в каждом конкретном случае утверждать, корректно употреблено слово или нет. На этом уровне можно говорить о неосознанном, неотрефлексированном употреблении слова (этот уровень в первом приближении соответствует тому, что некоторые лингвисты называют «наивной языковой картиной мира» или «наивной языковой моделью мира» [См., напр., Апресян 1995, с. 56-60]).

Следует отметить, что процесс обретения словом устойчивого семантического положения, процесс формирования семантической нормы может быть весьма длительным, и его описание представляет собой интересную самостоятельную задачу. Сначала новое значение «нащупывается», слово может употребляться в весьма неожиданных контекстах, но постепенно конструкция становится все более и более жесткой и интуиция, соответствующая слову, обретает необходимую устойчивость. Если говорить о «скуке», то такая «размытость» значения особенно характерна для первой половины XVIII в., когда относительно часто встречаются контексты, периферийные для данного периода и исчезающие в дальнейшем. Интересно, например, следующее высказывание Меньшикова: «Королевское величество зело скучает о денгах и со слезами наодине у меня просил, понеже так обнищал, пришло так, что есть нечего. Которую ево скудость видя, я дал ему своих денег десять тысяч ефимиков» (Письмо А. Д. Меньшикова Петру (26 сентября 1706 г.) // Петр Великий 1900, с. 1132).

в) Третий уровень задают интерпретации слова, т. е. его сознательное, отрефлексированное использование, превращающее слово в элемент определенной теоретической конструкции²¹. Важно разделять сознательную интерпретацию значения слова и его неотрефлексированное употребление. Особенно существенно это различие для культурно значимых слов, с интерпретацией которых у интерпретатора связывается собственная культурная идентификация. Так или иначе трактуя смысл понятий «свобода», «счастье», «Россия», «Запад», «народ», «интеллигенция», «пошлость», «мещанство», «скука», человек, живущий в пространстве русской культуры, обретает в ней свое место, а также включается в процесс дальнейшей ее

трансляции и эволюции. При этом предлагаемая интерпретация, опираясь на языковую интуицию, часто заметно трансформирует ее, и для своего понимания требует экспликации мировоззренческой системы автора в целом (см.: [Глебкин 1998, с. 6-8, 54-56]). Так интерпретация понятия «пошлость» Набоковым или Зеньковским, понятия «интеллигенция» Бердяевым или Ивановым-Разумником существенно отличаются от традиционного для их современников употребления слова, и эти интерпретации нельзя смешивать с неосознанным употреблением, они требуют отдельного описания (см.: [Глебкин 2002, с. 429-430]; более развернутое обоснование этого тезиса см. [Глебкин (в печати)]).

Следует заметить, что описание каждого из трех уровней необходимо давать в динамике. Семантическая структура культурно значимых слов может испытывать заметные изменения каждые десять-двадцать лет. Эти изменения могут происходить и посредством внутренней эволюции слова, за счет образования дополнительных семантических связей с другими словами, но, в первую очередь, они происходят как следствие новых социокультурных трансформаций, а также благодаря влиянию интерпретаций на третьем уровне. Со своей стороны, эти трансформации иногда ведут к появлению новых интерпретаций, которые, разумеется, могут возникать и независимо. Такое динамическое описание на трех уровнях, при фиксировании семантической структуры в каждый семантически значимый период, должно обеспечить достаточную степень полноты в понимании семантической и социокультурной траектории слова.

Не имея здесь возможности излагать принципы описания на первом и третьем уровнях, немного остановлюсь лишь на описании второго. Основная идея здесь состоит в том, чтобы выделять некоторые парадигмальные ситуации, в которых данное слово употребляется наиболее часто. Сделанное утверждение можно проиллюстрировать классическими опытами А.Р.Лурии и О.С.Виноградовой по исследованию «семантических полей» слов [Лурия, 1979, с. 100-114]²². Отвлекаясь от специальной терминологии и некоторых нюансов, содержание данного исследования можно передать следующим образом. У испытуемого вырабатывался условный рефлекс на некоторое слово, например, «скрипка» (предъявляемое слово подкреплялось болевым раздражением, приводящим к специфической болевой реакции, после чего раздражитель убирался и соответствующую реакцию вызывало просто произнесение слова).

Затем вместо слова «скрипка» испытуемому предлагались слова, близкие данному ситуационно («смычок», «концерт»), категориально («мандолина», «музыка») а также нейтральные слова («окно», «лампа», «тетрадь»). Опыт показал, что слова первой и второй группы («смычок», «концерт», «мандолина», «музыка») вызывают болевые реакции, близкие по интенсивности первоначальной, а на слова третьей группы испытуемый не реагирует. Эти довольно очевидные результаты говорят о том, что в нашем сознании слово существует не отдельно, само по себе, а с целой «гроздью» семантических связей, которая автоматически «всплывает» при произнесении данного слова. За каждой из ветвей данной грозди стоят вполне конкретные парадигмальные ситуации, в которых употребление слова наиболее очевидно. Слова повседневного языка, не несущие значимых для оснований культуры смыслов, описываются через базовые бытовые ситуации: собака – это существо, которое бежит за кошкой, ходит на поводке, любит грызть кости и т.д. Набор таких парадигмальных ситуаций и составляет семантический каркас слова [ср. Wierzbicka 1985, р. 146-257]. Другие ситуации будут подстраиваться под базовые и для них корректность употребления слова уже не будет вызывать безусловного согласия. В различных культурах набор парадигмальных ситуаций разный, что приводит к различиям в представлениях о собаке у жителя Москвы и, например, юкагира. Для культурно значимых слов определяющими становятся социокультурные ситуации, что приводит, в среднем, к значительно более активной семантической эволюции слова.

Так, в литературном языке XIX века слово «ритуал» использовалось в жестко заданной парадигмальной ситуации: оно было связано, главным образом, с католическим религиозным обрядом. Вот характерные примеры: *«Странная вещь! Католицизм, умевший создать такие храмы, умевший украсить их такими фресками, такими картинами и статуями, не умел уладить торжественнее, поэтичнее свой ритуал в самом Риме»* (Герцен, *Письма из Франции и Италии*); *«[Полецуки] начали ходить в костел... Там музыка, благоговейная тишина, торжественность богослужения, великолепный ритуал»* (Куприн, *Запечатанные младенцы*).

Затем, после социальных и культурных потрясений начала XX века, семантика слова изменяется, реагируя на эти потрясения. Во-первых, в связи с общим изменением религиозных установок культуры, значимое для XIX века различие между православием и католичеством с 20-х годов XX века перестает

быть существенным и слово начинает применяться к любой религиозной церемонии. Во-вторых, в культуре возникает отсутствовавшая ранее область, по функции и значимости сопоставимая с православной религией, формируется коммунистическая идеология, и слово «ритуал» переносится на новые символические действия, которые должны заменить собой религиозные (*«На необходимость хоть какого-нибудь свадебного ритуала указывалось и многочисленными делегатками с мест на недавней сессии ВЦИКа.»* (Вересаев, *Об обрядах*); *«Необходимо, чтобы знамя было обставлено специальным ритуалом почета.»* (Макаренко, *Методика организации воспитательного процесса*))

В-третьих, в связи с размыванием социальных границ и общим процессом десакрализации культуры слово начинает переноситься на бытовые контексты, в которых подчеркивается «излишняя» для повседневной практики смысловая составляющая, сначала скорее иронично, но потом и вполне серьезно²³. Здесь, как мы видим, социокультурная эволюция порождает заметное расширение набора парадигмальных ситуаций, хотя центральным все равно остается значение сакрального обряда. Значительно более сложную и часто неожиданную эволюцию испытывают такие слова как «народ», «интеллигенция», «пошлость», «мещанство» [см. Глебкин (в печати)].

Изложив в общих чертах модель описания культурно-значимых слов, которая может быть альтернативной традиционным семантическим описаниям, хотелось бы предупредить некоторые возможные вопросы и в заключение остановиться на двух значимых методологических моментах. Во-первых, как выявить, какая ситуация является парадигмальной? Опора на интуицию исследователя ведет к критикуемому в статье субъективизму. Однако, если речь идет о культурно значимых словах, парадигмальные ситуации можно выявить путем статистического анализа большого массива текстов. Если проанализировать несколько сотен случаев употребления исследуемого слова, парадигмальными обычно будут ситуации, в которых слово встречается наиболее часто.

Во-вторых, имеет смысл обсудить одно очевидное возражение: в предложенном описании будут использоваться слова языка, которые также требуют своего описания, и мы либо опять окажемся в ситуации логического круга, когда одно будет объясняться через другое, либо придем к необходимости введения неопределяемых понятий. Следует, однако, обратить внимание на то, что статус объясняемых слов и слов, с по-

мощью которых строится объяснение, существенно различается. Разницу можно проиллюстрировать, говоря о двух видах математики: как замкнутой на себя, опирающейся на строгие доказательства науки, и как инструмента для других наук, например, физики. И стиль работы использующего математику исследователя, и методологический контекст, в котором она существует, в этих случаях существенно разные. Аналогично, и слова, описывающие парадигмальные ситуации, не самодостаточны, а выполняют роль «инструмента для семантического описания» и могут быть, в принципе, заменены заснятыми на видеокамеру сюжетами или какими-нибудь другими способами изображения.

Разумеется, приведенные соображения не исчерпывают основной массы потенциальных вопросов и возражений, но они и не претендуют на это. Цель изложенной выше модели иная: показать возможность иных, чем это принято в современной семантике, оснований для построения семантической теории, задать поле для конструктивного обсуждения, которое, хотелось бы надеяться, и станет результатом предложенных размышлений.

Примечания

- ¹ Автор признателен В.Н. Романову, прочитавшему текст статьи и сделавшему ряд важных замечаний.
- ² Иногда такие модели *ad hoc* создаются самими авторами фундаментальных теорий, видимо, интуитивно ощущающими ограниченность этих теорий. В качестве иллюстрации можно сослаться на разработанную А. Вежбицкой концепцию «cultural scripts», несмотря на утверждения ее автора, методологически не связанную с ее же NSM-теорией [см., напр., Wierzbicka 2002], или предложенную ей модель описания концептов «народной биологии» [см., напр., Wierzbicka 1985, с. 212-217].
- ³ Для данной статьи не существенны особенности трактовки модели «Смысл⇌Текст» отдельными ее авторами, а также вопрос об их личном вкладе в модель, т.к. в целом методологические основания авторов едины. В приведенной выше последовательности имен я следую за установившейся традицией [см., напр., Кронгауз 2005, с.259].
- ⁴ Авторы постоянно отмечают, что данная операция требует большой семантической чуткости, в частности, учета аллолексии и полисемии [см. Wierzbicka 1996, p.185-210; Goddard 2002, p. 20-32].

- 5 «...since the meaning of a word is, as I have been arguing all along, a configuration of semantic primitives for each word, its meaning can (and must) be defined positively, regardless of the meanings of any "neighbouring" words in the lexicon. The meanings of different words can overlap (as *abc* overlaps with *bed*), but both the similarities and the differences can be stated only after the meaning of each word has been identified» [Wierzbicka 1996, p.170].
- 6 Более того, могу сказать, что «обычные носители языка», к которым я обращался с просьбой оценить предложенные А. Вежбицкой толкования, выразили сомнения в их ясности и продуктивности. В этом смысле, гораздо более информативными, точными и глубокими являются комментарии Вежбицкой к приводимым толкованиям, но они находятся уже за рамками NSM-концепции.
- 7 Ссылка на Поппера не предполагает, что мне близка его методологическая позиция в целом. Я солидаризируюсь здесь лишь с одной, уже не столько методологической, сколько экзистенциальной посылкой его теоретических построений.
- 8 Ср.: «И подобно тому, как зародыш образуется в животном, как тысячи других чудес природы совершаются вследствие известного, Богом данного инстинкта, т.е. в силу божественной преформации, сделавшей эти удивительные автоматы способными механически производить столь прекрасные явления, - подобно этому можно думать, что и душа есть духовный автомат, еще более удивительный, и что вследствие божественной преформации она производит эти прекрасные идеи, в которых наша воля не принимает участия и которым наше искусство не может подражать. Действия духовных автоматов, т.е. душ, совсем не механические, но они в превосходной степени содержат то, что есть прекрасного в механике» [Лейбниц 1989, с.392]. См. также: [Лейбниц 1982, с. 416, 424-425; Лейбниц 1989, с.138, 161, 167-170].
- 9 В «Словаре французской академии» издания 1694 г. предлагается следующее определение «автомата»: «AUTOMATE. Machine qui a en soy les principes de son mouvement. Une horloge est un automate. Quelques Philosophes pretendent que les animaux ne sont que des automates».
- 10 Влияние идей Хомского характерно для значительного массива западных работ, посвященных исследованию детской речи [см., напр., Bloom etc. 1975, p.4, 30-33]. Это влияние ведет к тому, что теория обретает предельно жесткий каркас, при котором не она трансформируется под влиянием экспериментальных данных, принимая наиболее адекватную эксперименту форму, а, наоборот, экспериментальные данные деформируются таким образом, чтобы соответствовать теоретическому каркасу. Критику такого подхода см. в [Bloom etc. 1975, p. 87-89; Bowerman 1985, p. 1265-1282]. Об исследованиях детской речи в соотнесении с базовыми теоретическими моделями в целом см. [Фрумкина 2001, с. 34-36].
- 11 См., напр., операциональные принципы, в которых подчеркивается значимость типовой для ребенка деятельности, отсутствие различий между одушевленными и неодушевленными объектами

- и т.д. [Slobin 1985, p. 1170-1171, 1186-1187]. Об иной психологической традиции, в которой исследование ситуационного контекста становится определяющим для понимания процессов овладения ребенком языка, см., напр., [Лурия 1979, с. 32-36, 58-60]. Ср. с [Keller-Cohen 1978]. Для построения теоретической модели детской речи важными являются замечания Р. Фрумкиной о параллелизме между детской и разговорной речью [Фрумкина 2001, с. 35-39].
- 12 Так «basic notions», о которых пишет Слобин, и под которыми по контексту имеются в виду как раз опорные операциональные принципы, трансформируются в тексте Вежбицкой в «innate "basic concepts"» [см. Wierzbicka 1996, p. 17]. При этом в интерпретации Вежбицкой объединяются два далеко отстоящих фрагмента статьи Слобина, в которых речь, кажется, идет о разных вещах и ни один из которых не предполагает, по-видимому, ничего подобного innate «basic concepts» в смысле Вежбицкой [см. Slobin 1985, p. 1161, 1171-1172].
 - 13 Вообще, отсылка к Брунеру в данной работе Вежбицкой крайне любопытна. Весь пафос книги Брунера – отчетливо антилейбницанский, направленный против формальных, компьютерных моделей мышления. В частности, автор критикует «информационный» подход к описанию значения, сводящий процесс понимания к отысканию в сознании ячейки с соответствующей информацией [Bruner 1990, p. 4-7]. Но именно такую трактовку значения предлагает Вежбицкая (см. цитированный выше фрагмент [Wierzbicka 1996, p. 170]).
 - 14 В качестве иллюстрации можно вспомнить слова Пушкина о современном ему русском языке: «Исключая тех, которые занимаются стихами, русский язык ни для кого не может быть довольно привлекателен – у нас еще нет ни словесности, ни книг, все наши знания, все наши понятия с младенчества почерпнули мы в книгах иностранных, мы привыкли мыслить на чужом языке; просвещение века требует важных предметов размышления для пищи умов, которые уже не могут довольствоваться блестящими играми воображения и гармонии, но ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснялись – метафизического языка у нас вовсе не существует; проза наша так еще мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены создавать обороты слов для изъяснения понятий самых обыкновенных; и леность наша охотнее выражается на языке чужом, коего механические формы уже давно готовы и всем известны» [Пушкин 1949 (1824), с. 21].
 - 15 См., напр., работу, посвященную семантической эволюции понятия *Angst* и влиянию работ Лютера на эту эволюцию: [Вежбицкая 2001, с. 44-125].
 - 16 См., напр., [Мельчук 1997, с. 21-22]. Ср.: [Апресян 1995, с. 113], где говорится о речевой практике носителей языка, но фактически в качестве таких носителей выступают сами лингвисты.
 - 17 «Попробуем проанализировать содержание утверждения "Язык – орудие общения". Что значит "быть орудием общения"? Видимо, эта означает "представлять собой систему средств передачи ин-

формации, составляющей цель общения"... Дело обстоит, грубо говоря, следующим образом: (1) Информация передается посредством (2) последовательностей речевых сигналов, акустических или визуальных. Последовательность сигналов, несущая информацию, направляется от (3) говорящего-(или пишущего) к (4) слушающему (или читающему) через определенный (5) канал связи (воздух, в котором распространяется звук; телефонный провод; бумага книги и т. п.). Слушающий извлекает из сигналов, посланных говорящим, ту (или почти ту) информацию, которую этот последний имел в виду, благодаря тому что оба владеют одним и тем же (6) кодом – правилами соответствий между (речевыми) сигналами и (речевой) информацией» [Мельчук 1999, с. 12].

- 18 Ср. экспериментальные исследования Р. Фрумкиной и ее выводы о целостности восприятия объекта испытуемыми: [Фрумкина 1985, с.25-26; Фрумкина 1991, с. 128-130].
- 19 Т.е. существом, которое только *носит* некоторую не связанную с ним сущностно реальность как носят пальто, ботинки и т.д.
- 20 В тех случаях, когда авторы говорят (впрочем, крайне конспективно) о семантической эволюции слова, причины этой эволюции остаются непроясненными (см., напр., [Зализняк и др. 2005, с. 108-109, 162-163]). Единственное, пожалуй, исключение составляет обращение к советской истории, но и здесь оно выдержано в рамках тоталитарной модели, для которой весь советский период предстает как единый монолит, не предполагающий существенной социокультурной эволюции (см., напр., [Зализняк и др. 2005, с. 123-129]).
- 21 Отдаленным аналогом этого уровня служит понятие «научной картины мира», выраженное в противопоставлении «наивной» и «научной картины мира», или научного знания и повседневного знания [Апресян 1995, с. 56-60; Wierzbicka 1996, p. 338-344]. Однако осознанное употребление слова, при котором оно становится элементом определенной теоретической конструкции, далеко не всегда может быть описано понятием «научная картина мира».
- 22 За этими экспериментами стоит хорошо известный в психологии метод свободных ассоциаций, который авторы попытались перевести на уровень физиологии.
- 23 «...нет, видно такой ритуал, что когда математик приходит к отцу, то – приходит молчать» – А.Белый, На рубеже двух столетий; «Если бы дать Исаю Бенедиктовичу волю, он бы взял такси и носился по Москве наобум, без всякого плану, воображая, что таков ритуал». – О.Мандельштам, Четвертая проза; «Скупой прощальный ритуал не оборвет нам песни» – О.Митяев, «Живут такие люди»; «Я вспомнил, как Шура истово отпаривал брюки, как тщательно завязывал галстук, как бережно доставал из шкафа свой единственный "выходной" пиджак в клеточку, когда собирался, по его выражению, "в люди". Эти сборы всегда носили характер маленького торжественного и веселого ритуала» (В.Кунин. Кыся-2). Подробнее о механизме употребления слова см.: [Глебкин 1998, с. 16-24].

- Апресян Ю.Д. Избранные труды. Т. 1. Лексическая семантика. М.: Языки рус. культуры: Восточная литература, 1995.
- Апресян Ю.Д. О языке толкований и семантических примитивах // Избранные труды. Т. II. Интегральное описание языка и системная лексикография. М.: Языки рус. культуры, 1995. С. 466 – 484.
- Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М.: Языки рус. культуры, 1999.
- Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики. М.: Языки слав. культуры, 2001.
- Глебкин В.В. Ритуал в советской культуре. М.: Янус-К, 1998
- Глебкин В.В. Интеллигентный диссидент: тавтология или оксюморон? // Культура и власть в условиях коммуникационной революции XX века. М.: АИРО-XX, 2002. С. 416-432.
- Глебкин В.В. Интеллигенция; Мещанство; Пошлость; Скука // Культурология: Энциклопедия: В 2-х т. / Ред. С.Я. Левит. М., 2007 (в печати).
- Зализняк и др. 2005 – Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира. М.: Языки слав. культуры, 2005
- Кронгауз М.А. Семантика. М.: Академия, 2005.
- Лейбниц Г.-В. Монадология // Сочинения: в 4-х т.: Т.2. М.: Мысль, 1983. С. 47-545.
- Лейбниц Г.-В. Новые опыты о человеческом разумении автора системы предустановленной гармонии // Сочинения: в 4-х т.: Т.2. М.: Мысль, 1983. С. 47-545.
- Лейбниц Г.-В. Что такое идея // Сочинения: в 4-х т.: Т.3. М.: Мысль, 1984. С. 103-104.
- Лейбниц Г.-В. Об универсальной науке, или философском исчислении // Сочинения: в 4-х т.: Т.3. М.: Мысль, 1984. С. 494-500.
- Лейбниц Г.-В. Опыты теодицеи о благодати Божией, свободе человека и начале зла // Сочинения: в 4-х т.: Т.4. М.: Мысль, 1989. С. 49-413.
- Логический анализ 1991 – Логический анализ языка. Культурные концепты. М.: Наука, 1991.
- Лурия А. Р. Об историческом развитии познавательных процессов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1974.
- Лурия А.Р. Язык и сознание. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979.
- Мельчук И.А. Русский язык в модели «Смысл $\Leftrightarrow$ Текст». М.-Вена: Языки рус. культуры: Венский славистический альманах, 1995.
- Мельчук И.А. Курс общей морфологии. Т. 1. М.- Вена: Языки рус. культуры: Венский лингвистический альманах: Прогресс, 1997.
- Мельчук И.А. Опыт теории лингвистических моделей «Смысл $\Leftrightarrow$ Текст». М.: Языки рус. культуры, 1999.
- Петр Великий 1900 – Письма и бумаги Петра Великого. Т. 4 (1706). СПб.: Государственная типография, 1900.
- Поппер К. Логика и рост научного знания. М.: Прогресс, 1983.

- Пушкин А.С. <Причинами, замедлившими ход нашей словесности...> // Полное собрание сочинений. Т. 11. Критика и публицистика. 1819-1834. М., 1949. С.21
- Романов В.Н. Историческое развитие культуры. Проблемы типологии. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991.
- Соловьев В.Д. К методологии описания синонимии (на материале эмоциональной лексики русского языка) // Эмоции в языке и речи. М.: РГГУ, 2005. С.86-105.
- Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. М.: Академический Проект, 2001.
- Фрумкина Р.М. Смысл и сходство // Вопросы языкознания. 1985. №2. С. 22-31.
- Фрумкина Р.М. Интерпретация смыслов: признаки и целостности // Семантика и категоризация. М.: Наука, 1991. С. 128-143.
- Фрумкина Р.М. Вокруг детской речи: методологические размышления // Известия Академии наук. Сер. литературы и языка. 2001. Т. 60. №2. С.33-39.
- Шмелев А.Д. Русская языковая модель мира. Материалы к словарю. М.: Языки слав. культуры, 2002.
- Шайкевич А.Я. Русская языковая картина мира в ряду других картин // Московский лингвистический журнал. 2005. Т.8, №2. С. 5-21.
- Bloom etc. 1975 – Bloom L., Lightbown P., Hood L. Structure and variation in child language. Chicago (Ill.): Univ. of Chicago press, 1975.
- Bowerman M. What Shapes Children's Grammars? // The Crosslinguistic Study of Language Acquisition. V. 2: Theoretical Issues. Hillsdale, New Jersey, 1985. P.1257-1319.
- Bruner Jerome. Acts of Meaning. Cambridge, Mass.; L.: Harvard University Press, 1990
- Goddard Cliff. Bad arguments against semantic primitives // Theoretical Linguistics. 1998. V. 24, № 2-3. P.129-156.
- Goddard Cliff. The search for the shared semantic core of all languages // Meaning and Universal Grammar. Theory and Empirical Findings / Goddard C. and Wierzbicka A. (eds). V.I. Amsterdam: John Benjamins. P. 5-40.
- Luria A.R. Cognitive Development: Its Cultural and Social Foundations. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1976.
- Keller-Cohen D. Context in Child Language // Annual Review of Anthropology. V. 7, 1978. P. 453-482.
- Popper K.R. Conjectures and Refutations. N.Y., L.: Basic Books, Publishers, 1962.
- Slobin Dan I. Crosslinguistic Evidence for the Language-Making Capacity // The Crosslinguistic Study of Language Acquisition. V. 2: Theoretical Issues. Hillsdale, New Jersey, 1985. P.1127-1256.
- Wierzbicka Anna. Semantic Primitives. Linguistische Forschungen. №22. Frankfurt/M: Athenäum, 1972.

- Wierzbicka Anna. *Lingua mentalis: The Semantics of natural Language*. Sydney etc.: Academic Press, 1980.
- Wierzbicka Anna. *Lexicography and Conceptual Analysis*. Ann Arbor: Karoma, 1985.
- Wierzbicka Anna. *Semantics: primes and universals*. Oxford, N. Y.: Oxford University Press, 1996.
- Wierzbicka Anna. *Russian Cultural Scripts: the Theory of Cultural Scripts and its Applications* // *Ethos*. 2002. V.30, № 4. P.401-432.
- Wierzbicka Anna. *Empirical Universals of Language as a Basis for the Study of Other Human Universals and as a Tool for Exploring Cross-Cultural Differences* // *Ethos*. 2005. V.33, № 2, P.256-291.